

БОЛЕЕ ста лет прошло со времени этой полемики, но у нас есть основания вчитываться и теперь в каждое ее слово. Во-первых, здесь сошлись два писателя, величие которых, неоспоримое в наших глазах, есть открытие и достижение скорее нового века, чем их эпохи. Во-вторых, полемика идет вокруг гениального лесковского рассказа, входящего в круг живого чтения современных людей. И в-третьих, перед нами пример того, как встреча двух крупных характеров, на человеческом уровне вроде бы «аннигилирующих», выявляет в них высшее взаимное тяготение друг к другу.

Взаимоотношения людей такого масштаба полны страстей, добрых либо злых, но никогда не мелких, ибо здесь ощущается дыхание времени и биение истины. О писателях такого уровня сказано: они разговаривают друг с другом, как держава с державой. Спор по частностям выявляет взаимодействие художественных систем, неудержимо устремленных к единому — к ощущению России, ее культуры, ее духовной миссии. И в этом — еще один важнейший для нас урок острой полемики, вспыхнувшей вокруг «Запечатленного ангела» весной 1873 года, сразу же после того, как он появился в январской книжке «Русского вестника».

Собственно, на рассказ Лескова откликнулись и другие достаточно едкие умы того времени; оживленное обсуждение рассказа шло в крупнейших либеральных газетах — в «Новом времени», в «Санкт-Петербургских ведомостях»... На Лескова эта критика не произвела впечатления; он на нее просто не отреагировал.

Отреагировал он на высказывание, которое явилось на страницах куда менее уважаемой газеты «Гражданин», издававшейся князем В. П. Мещерским. Но дело не в этом, а в том, что редактором газеты в ту пору был Ф. М. Достоевский, который вел там свой «Дневник писателя»...

Чтобы уловить некоторые оттенки начинающейся полемики, представим себе психологический фон ее — взаимоотношения двух великих писателей. Тот факт, что именно Достоевский за восемь лет до того опубликовал в своем журнале «Леди Макбет Мценского уезда», отнюдь не говорит ни о принципиальной солидарности, ни о личной приязни. Напротив, та публикация стала для Лескова источником неприятных переживаний, и в частности хлопот о гонораре, выплату которого Достоевский, по стесненности обстоятельств, бесконечно откладывал; в конце концов вместо денег он выдал Лескову вексель, который тот так никогда и не решился предъявить.

Статья Достоевского о «Запечатленном ангеле», появившаяся 19 февраля 1873 года, называется — по фразе Лескова, вложенной в уста архиерея, — «Смятенный вид».

«Я, — начинает Достоевский, — кое-что прочел из текущей литературы и чувствую, что «Гражданин» обязан упомянуть о ней на своих страницах. Но — какой я критик?.. Я могу сказать кое-что лишь по поводу».

Прервемся на секунду. Оценим интонацию. Достоевский не менее Лескова умеет быть в интонации коварным, и уж Лесков-то должен уловить некоторую снисходительность и в этом: «кое-что... из текущей литературы», и в том, как строже ниже Достоевский признает его, Лескова, читательский успех:

«Известно, что сочинение это многим понравилось здесь в Петербурге и что очень многие его прочли. Действительно, оно то-

го стоит: и характерно, и занимательно! Очень занимательно рассказано...»

И Достоевский начинает излагать содержание, попутно — и все в той же «коварной» манере — отмечая разнообразные удачи автора. В «запутанной и занимательной истории» о том,



Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ.

«Я УЗНАЛ ВАС... ПО СЛОГУ»

как похищенный у раскольников «Ангел» был «выкраден обратно», он находит особенно выдающимися беседы об иконной живописи. «Это место серьезно хорошо, — хвалит Достоевский, — Лучшее во всем рассказе». Что же касается чудесного финала, то тут, оговаривается Достоевский, «автор не удержался и кончил повесть довольно неловко». Замечание вскользь: «К этим неловкостям г. Лесков способен; вспомним только конец диакона Ахиллы в его «Соборянах»... И далее — рассуждение, чрезвычайно важное для позиции Достоевского: «Он (Лесков, — Л. А.), кажется, испугался, что его обвинят в наклонности к предрассудкам и поспешил разъяснить чудо...» Переказав далее эпизод с отклеившейся от лика ангела бумажкой, Достоевский не ограничивается беглым замечанием; Достоевскому эта тема дорога; он в нее углубляется; он ставит Лескову иронический вопрос: чему же тут радоваться — чуду распечатления или соскользнувшей бумажке? «Отчасти и непонятно», в чем тогда смысл рассказа, и вообще возникает «некоторое недоверие к правде описанного...».

Тут, конечно, не только интонация должна была задеть Лескова. Мы увидим далее, что именно замечание о чуде стало пунктом наиболее острой полемики писателей. И не случайно. Здесь есть глубокая онтологическая причина, хотя на поверхностный взгляд расхождение кажется пустячным и даже странным. В самом деле: Лесков, знаток «провинциальной тьмы», объясняет чудо элементарным физическим законом (бумажка отклеилась); Достоевский же, возмущенный во всеоружии «светлых знаний», оскорблен таким сциентистским объяснением и внутренне склонен к чуду, хотя, как мы еще убедимся, не хочет в этом признаваться даже себе самому. А нет ли в этом закономерности? Достоевский, всецело втянутый в ситуацию «культуры», ищет выхода в «безднах» и «пророчествах», в осознании чуда, тайны и авторитета. Лесков же, всецело погруженный в плоть, в реальную ткань и «навоз родной» допетровского, «докультурного», так сказать, слоя,

описывает этот слой как трезвый реалист и в чудесах вовсе не нуждается. Не это ли расхождение так резко развело двух наших классиков? Ведь вокруг этого пункта и будет главный спор.

Легко заметить, что, излагая содержание лесковского рассказа, Достоевский выявляет в нем только один аспект — столкновение «начальства» и «общества». Однако в отличие от других критиков, отпуская адресату начальства вполне символические и ни к чему не обязывающие либеральные вздохи, Достоевский мыслит очень четко и очень точно. Его интересует во всей этой истории только один человек — православный архиерей. Тот самый, что отобрал запечатленного ангела у «жандармов» и поставил у себя в алтаре со словами: «Смятенный вид! Как ужасно его изнеявляли!» Что же это такое! — возмущается Достоевский. «Архиерей, после такого неслыханного, всенародно-бесстыдного и самоуправного святотатства, ко-

совсем другая. А потому дело и осталось за ним».

Этим потрясающим местом Достоевский кончает статью. Чтобы почувствовать, насколько важной и острой была в ту пору для русского сознания мысль о цене, которую надо платить за величие России, советуем читателю снять с полки роман Л. Толстого «Анна Каренина» (тогда же писавшийся), раскрыть главу 29-ю третьей части и вдуматься в рассуждения Левина о том, почему плохо работающие русские мужики хотят работать именно таким, странным, «им одним свойственным образом» и в какой связи этот странный образ действительности находится с «призванием заселять и обрабатывать огромные пространства». Откликнется и Лесков на мысль Достоевского, именно — на самый эпатажный аспект ее: на вопль о воде, — но откликнется не скоро. Через десять лет. В «Печерских антиках».

Пока же Лесков делает следующее: вскоре после выхода

Коррезо снова водворен на этот пост, движение совершилось без кровопролития), вряд ли произвело на Достоевского впечатление, и он не стал бы, наверное, отвечать на столь малозаметную реплику, если бы Лесков ею ограничился. Но через неделю Лесков обнаружил в «Гражданине» новую соблазнительную мишень: повесть под названием «Дьячок». Написавший эту повесть третьестепенный автор Лескову вовсе не нужен. Нужен ему редактор, повесть напечатавший, — Достоевский. На сей раз письмо пишется от имени «Свящ. П. Касторского» — псевдоним звучит трудноуловимой, но несомненной издевкой.

«Священнослужители и церковники, — начинает «свящ. П. Касторский», — весьма нередко в наше время бывают избираемы нашими повествователями и романистами в герои своих повествований... Недавний успех «Записок причетника» (Марко Вовчка. — Л. А.) в «Отечественных записках» и потом еще больший успех «Соборян» в «Русском вестнике» показывают, как много интереса могут возбуждать в обществе художественные изображения бытовой среды нашего клира... А почему?..»

Первый существенный просчет Лескова как полемиста: реклама «Соборян», выходящая вполне невинно в уста «свящ. П. Касторского», делается чудовищно бестактно, если псевдоним раскрыть, а Достоевский, конечно, с этим не замедлит, он такого шанса не упустит.

«...А почему? — продолжает меж тем «свящ. П. Касторский» нахваливать «Соборян». — Потому что они написаны хорошо, художественно и со знанием дела. Но совсем не то выходит, когда... за это дело берутся люди, которые не имеют о нем никакого понятия. Они только конфузят себя и вредят делу... и я, вслед за псаломщиком, недавно заметившим в «Русском мире» невежество писателя Достоевского насчет певчих, не могу промолчать о еще более грубом, смешном и непростительном невежестве...»

Вторая тактическая ошибка: с чего это «свящ. П. Касторский» ссылается на «Псаломщика»? Тут общее авторство обоих писем психологически выдано почти с поличным — верх неосмотрительности в споре с таким пронзительным полемистом, как Достоевский, особенно если учесть, что разговор-то затеян вроде бы «не о том»: разговор, казалось бы, о деталях монастырского быта (связанных в повести «Дьячок» скорее с точностью выражения, нежели со знанием фактов). Но суть — в тоне, в интонации, с какой «свящ. П. Касторский» вопрошает: «...Как же не знать этого редактору г. Достоевскому, который недавно так пространно заявлял, что он большой христианин и притом православный и православно верующий в самые мудреные чудеса...»

Вот он, главный подкол... Достоевский отвечает немедленно.

Статья называется «Ряженый». «Во-первых, батюшка, вы... сочинили (экая ведь страсть у вас к сочинительству!). Никогда и нигде не объявляя я о себе лично ничего о вере моей в чудеса. Все это вы выдумали, и я вас вызываю указать: где вы это нашли? Позвольте еще: если бы я, Ф. Достоевский, где-нибудь и объявил это о себе... то уж, поверьте, не отказался бы от слов моих ни из-за какого либерального страха или страха ради Касторского... Но если бы и было — что вам-то до веры моей в чудеса?.. Желаю, чтобы в этом отношении вы оставили меня в покое — уже хоть по тому одному, что приставать ко мне с этим вовсе к вам не идет, несмотря на все современное просвещение ваше. Духовное

* Заметим эту лукавую оговорку Достоевского: именно ее Лесков и «зацепил» для атаки.



Н. С. ЛЕСКОВ.

номера «Гражданина» со статьей «Смятенный вид» он через В. П. Мещерского предлагает газете «Очарованного странника». Это — попытка примирения. Предложение отвергнуто.

Через две недели в газете «Русский мир» появляется письмо псаломщика.

Удар нанесен с должной хитростью: на статью «Смятенный вид» Лесков прямо вроде бы не отвечает. Он «придирается» к опубликованному уже после нее в том же «Гражданине» заметкам Достоевского о картинах, отправляемых на венскую выставку живописи, и с ядовитой заботливостью поправляет Достоевского по поводу полотна Маковского «Псаломщики»: певчие-де искони в «официальных костюмах» не певали, а только в черных азамах; Псаломщик, подписавший письмо, опасается, как бы через «неведущее слово г. Достоевского» не укрепилось неосновательное мнение насчет певческих либрет. «Неведущее слово» есть, конечно, ответ на неосторожную саморекламацию Достоевского как «человека, с делом незнамого», но ответ, в общем, не бьет в цель: какой вызывающий. Крошечное письмецо «Псаломщика», тиснутое на бледной и слепой странице газеты «Русский мир» между петербургской хроникой («Выбросился из окна воспитанник учительского института Дмитриевский и убился до смерти») и иностранной почтой («В Панаме свершилась революция, в силу которой президент